

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК



Владимир Краснов

**Горький
ДЫМ ПАМЯТИ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТЕРРА»
КНИЖНЫЙ КЛУБ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

Издается с 1925 года

ВЛАДИМИР КРАСНОВ

ГОРЬКИЙ ДЫМ ПАМЯТИ



Издательский дом «Огонек» — «Терра—Книжный клуб»
Москва — 2008

ОБ АВТОРЕ

Владимир Павлович Краснов родился в 1950 году в деревне Пирос Боровичского района Новгородской области. Служил в армии. Окончил филфак Новгородского педагогического института и спецотделение журфака МГУ. Работал учителем сельской школы, корреспондентом районных, областных и региональных газет. В настоящее время — главный редактор еженедельника «Красная искра» (г. Боровичи Новгородской области).

Рассказы и очерки печатались в новгородских, петербургских и московских газетах, в журналах «Север», «Русская провинция», «Литературные незнакомцы», «Союзное государство», «Муравейник», «Чело», в альманахе «Вече». В 2001 году в Санкт-Петербурге вышел сборник рассказов и очерков «Вот опять приходит весна...»

- © Издательский дом «Огонек»,
внешнее оформление, 2008
- © Терра—Книжный клуб, 2008

ГОРЬКИЙ ДЫМ ПАМЯТИ

Баня давно не топилась. Из щелей в полу тянулись бледные неживые травинки, а из подгнившего нижнего венца, изогнувшись, лез хлипконогий гриб. Остывшая каменка, рассохшаяся шайка, закопченный котел, в котором успел свить паутину домовитый паук, — все это было на своих местах, но не было уже во всем этом той неукоснительности раз и навсегда заведенного порядка, что сама за себя говорит, что нынче же, в субботу, затрещит в печке сосновая лучина, огонь нехотя лизнет горкой сложенные дрова, поползет по мореным бревнам белый дым, отыскивая под потолком тесное оконце душника и вываливаясь наружу сизым пахучим облаком... Хватаясь за грудь и кашляя, выскочит из бани стриженный подросток, плюхнется на скамейку у колодца, оботрет кепкой вспотевший лоб и, отдышавшись, вновь ринется в дым поглядеть, не потухли ли сырые дрова.

Баня топилась плохо. Всякий раз она долго исходила дымом, пока огонь, наконец, не набирал силу и не принимался уробно и напористо гудеть. Дым понемногу рассеивался, и теперь можно было носить воду в большую пузатую кадку. Раз за разом бежать к колодцу и, перебирая руками тяжелый, в задирах и заусеницах, крюк, тащить из сумрачной пустоты точно свинцом налитое ведро, слыша, как срываются и звонко плещутся где-то внизу живые тяжелые капли и ходуном ходит взбаламученная вода... Пока бочка наполнялась, прогорали дрова, надо было рубить на еловом чурбаке сваленный в кучу древесный хлам и снова подбрасывать в ненасытную утробу жарко мерцавшей печи. В бане становилось тепло и сухо, и только слегка ело и пощипывало глаза. Под дощатой крышкой котла шумело. Мальчик подтаскивал к стене большой молочный бидон и широкий алюминевый бак, распалагая их поудобней, шуровал кочергой в топке и выметал голичком остатки мусора.

Щеки его покраснелись, в глазах плясали огоньки: то ли отсветы улей, то ли искры азарта — поди разберись, да и некогда разбираться, когда вот-вот сливать первый котел и опять носиться от колодца к бане, от бани к колодцу... Работа, за которую он с такой неохотой взялся, захватила его, было весело от сознания взрослой силы и сноровки, с которой, как казалось ему, он колот дрова, носил воду и следил за огнем. Все тут

было в его власти, и он, уже без суеты, невольно подражая отцу, присел на корточки у печки, наблюдая, как волнами пробегает по углям синеватый жар. Ему даже захотелось покурить, хотя еще маленьким он до зеленой рвоты накурился махорки, которую стащил из дома беспечный Христофор, неизвестно за что получивший свою странную кличку и охотно на нее откликавшийся. В тот раз, воображая себя почему-то индейцами, они долго, одну за одной, смолили неумело и наспех скрученные самокрутки, пока обоим не скорчил выворачивающий внутренности кашель. С тех пор он не притрагивался к табаку, хотя многие пацаны из его класса уже вовсю дымили в туалете, и от них по-взрослому независимо пахло куре-вом.

А однажды все с тем же выдумщиком Христофором сели после уроков в автобус, собираясь выйти у кладбища и берегом реки вернуться назад, но полупустой дребезжащий автобус, урча и подвывая, проскочил мимо, и они, неожиданно для себя, очутились в большом соседнем селе, за семь верст от дома. Сперва это их смешило, и они без умолку хохотали, дурачились, кидали в воду камни и щепки, слушая, как с гулким жалким чмоканием пропадают они в желтой пене грозно ревущих порогов, спорили, кто дальше кинет, даже пытались столкнуть с обрывистого берега огромный, нависший козырьком валун, но чуть сами не свалились в воду, и бросили это занятие, вдруг обнаружив, что день, так беззаботно прожитый, сменился вечером, и вязкие, гнилые сумерки уже клубятся в чахлом прибрежном лесу, делая его чужим и недобрым. Недоброе что-то чудилось и в сухом шорохе листьев, и в ровном несмолкаемом шуме реки, и в шелесте ветра, ставшего вдруг сырым и холодным... Не сговариваясь, они побежали по засыпанной листьями тропке и уже не глазели по сторонам и не рассуждали о том, как было бы интересно залезть в пещеру на той стороне, откуда бежала, разбиваясь о камни, подземная речка. Сама мысль о пещере казалась неприятной, пробирала по спине ознобом, и они бежали и бежали, пока не закололо в боку. Христофор скрючился, присел и, отдышавшись, сказал, что он не рыжий, что дальше не побежит, пусть дураки бегают, а он посидит на камне, и вознамерился было взгромоздиться на большой замшелый валун, наполовину вросший в землю, но тут глаза его округлились, он поблдевел и, тыча пальцем в неглубокую, блюдечком, выбоину, прошептал побелевшими губами: «Кровь!» И так он это произнес, что оба застыли как вкопанные у этого обыкновенного с виду камня, от которого вдруг пахнуло таким могильным холодом, таким мраком, что они сразу вспомнили о недавнем убийстве, случившемся таким же вот осенним вечером, когда дядя Коля Сергеев подстерег на берегу дядю Сашу Барулина, с которым подрался накануне по пьяному делу, и застрелил его из ружья, а сам скрылся неизвестно где, и его разыскивала милиция... Выбоина в камне багрово отливала красным, и не оставалось никаких сомнений, что это, конечно же, кровь еще одной несчастной жертвы, и что дядя

Коля, может быть, где-то рядом, в кустах, и, может быть, даже целится в них из ружья, ведь говорили же мужики, что ему нечего теперь терять... Как их оттуда унесло и как очутились дома, поклявшись никогда и никому не раскрывать своей страшной тайны, оба тогда так и не поняли. В ушах свистел и пофыркивал ветер, ноги едва касались земли, и только когда впереди показалось кладбище, а за ним колхозные мастерские и вытянутые в линию дома, еще темные и пустые в этот вечерний час, они перевели дух и, стараясь не глядеть на кресты за оградой, пошли хоть и быстро, но шагом. Вот тогда-то и договорились они никому ничего не говорить, но Христофор всем все разболтал, да еще наврал, что они видели гильзу от патрона и охотничий нож со следами крови. Он тогда смолчал и даже как будто поддакнул, а потом и сам незаметно для себя стал что-то прибавлять, с чем Христофор радостно соглашался, вспоминал на ходу новые подробности о страшном камне. Они даже договаривались туда сходить, чтобы на месте показать все, о чем с таким упоением говорили. Но вскоре зарядили дожди, потом повалил снег, рано замерзло, после школы пацаны расчищали на пруду лед и катались на коньках, прикручивая «канады» и «снегурочки» к валенкам. У бедняги Христофора коньков сроду не бывало, и он терпеливо ждал, когда ему дадут прокатиться, хотя, сказать по правде, катался он, как худая девчонка, и ничего, кроме насмешек, своим появлением на катке не вызывал.

Дядю Колою нашли по весне рыбаки. Он застрелился той же осенью, и труп его, лежавший на берегу глухого лесного озера, был, говорят, до неузнаваемости исклеван воронами. И схоронили его темной ночью на краю Нилушки в закрытом гробу. Об этом еще какое-то время с суевренным ужасом все говорили, а потом забыли, и если вспоминали, то как-то вскользь, не вороша подробностей. История с камнем к тому времени тоже забылась, и они с Христофором больше не вспоминали о ней.

...Шум в котле нарастал, пар валил сквозь все щели, в бане сделалось сыро и душно. И когда он ковшом стал отливать кипяток сперва в бидон, а потом в бак, пар заметался под потолком, обжигая своим горячим дыханием и мешая работать. Жарко взмокла спина, пот струйками бежал за ворот, заливал глаза, и не было никакой возможности стереть его. Шаркнув ковшом по дну, он усмирив раскаленный котел ведром холодной воды и, согнувшись, выскочил на волю.

Сердце трепыхалось под мокрой рубахой, в висках стучало и тюкало, он жадно хватал ртом холодный осенний воздух, пахнувший подопревшей картофельной ботвой, дымом и коровьим навозом. У соседей тоже топили баню, слышно было, как звякают за забором ведра, как плещется в колодце растревоженная вода...

И теперь здесь все так же, как было когда-то. Еще висят в предбаннике порыжевшие, никому не нужные веники, притулилась в углу ржавая кочерга, лежит на лавке кусок хозяйственного мыла, похожий на обломок

кирпича... Все здесь, как было, только жизнь незаметно выветрилась из этих прокопченных стен, оставив за чем-то безнадежно горький запах дыма.

СВЕТ ЛАМПЫ

Лампа красновато освещала полутемную комнату с тускло блестящими в углу иконами и большим настенным зеркалом, в котором смутно двигались какие-то тени. Я уже засыпал на жестком колченогом диване, где мне постелили, и все, что происходило вокруг, в этом чужом незнакомом доме, плыло и слоилось, как тьма за окном, когда идет дождь. Голоса доносились настолько неясно и неотчетливо, что я уже не разбирал ни слова и только глухой хрипловатый смех отца улавливал в общей разноголосице, и становилось мне от этого покойно и радостно, и чужой уют, чужие запахи уже не пугали, а напротив возбуждали своей новизной, и это мешало мне уснуть.

В вязкой полудреме я вспоминал, как долго, с остановками, ехали на тряском сельповском грузовике, как свернули в поле, и шофер дядя Гриша накидал вилами целый кузов приятно шуршащей соломой. Я лег на спину и, закинув руки за голову, стал глядеть на закатные облака и, как теперь, не слушал, о чем, смеясь, бубнят мужики. А они все насмешничали над Желобковым, он помалкивал себе, добродушно ухмыляясь, а мне отчего-то было жалко его — я так и не понял, зачем все донимали этого старого носатого человека, никому не сделавшего ничего дурного.

Сердце замирало, когда машину резко кидало то вправо, то влево, расхлябанный кузов гремел и колотился досками и железом, и делалось мне легко и пусто, точно нет во мне никакой тяжести и сейчас я поднимусь в небо, как лист, которым играет ветер. Я устал от непривычно долгого пути, от суетливых сборов, когда впопыхах бросали в кузов корзины и ведра и что-то кричали друг другу, торопили, а меня посылали то за одним, то за другим.

Как ни спешили, а выехали все равно поздно: уже вечерело, и в воздухе разливалась сырая льдистая прохлада. Меня распирало от радости и счастья, что едем мы куда-то очень далеко, за Чернец, там, говорят, пошли боровики, и от одного этого у меня сладко щемило в груди. Но ехали так долго и так сильно трясло, что радость мало-помалу улеглась, поблекла, и я уже не улыбался беспричинной и глупой улыбкой, а старался покрепче держаться за шершавый борт грузовика. Это потом, когда навалили соломы, ехать стало легко и приятно и так славно было вглядываться в высокое, разбавленное вечерним холодком небо с редкими клочками растрепанных ветром облаков.

На остановках мужики доставали бутылки, звенели стаканами, и говорили все громче, и чаще смеялись. А потом грузно лезли в кузов, пьянень-

ко хихикали и снопами валились в солому. Я с тревогой поглядывал на отца и замечал, что он трезвее и разумнее всех, радовался этому и снова растворялся взглядом в бездонном омуте неба.

Наверное, я задремал, потому что когда машина въехала в деревню и вокруг бегено залаяли собаки, было уже совсем темно, и только самый краешек неба между зубчатой стеной леса и черным оползнем тучи светился дальним угасающим светом. Я плохо понимал, где мы, почему остановились и зачем надо вылезать из теплой соломенной постели, когда там так мягко и хорошо. И все же я встал и прыгнул вслед за всеми на землю, да так неловко, что наверняка бы сильно зашибся, если бы не отец: — он подхватил меня и поставил на ноги. Потом мы шли куда-то в темноте, и я держался за его твердую сухую руку, заплетаясь слабыми со сна ногами. Собаки так и лаляли, хотя машина давно заглохла и пропала во тьме, точно ее никогда и не было здесь, и только сладковатый запах бензина и дорожной пыли еще дрожал в стылом засыревшем воздухе, не успев раствориться в нем и растаять без следа.

Мне показалось, что шли мы долго и путано. Желобков, и с ним еще несколько мужиков, свернули в сторону и тоже пропали, точно в мок канули. Шофер дядя Гриша уверенно и ходко вышагивал впереди, радостно гундося, что у свата должна быть брага, которую он всегда на Успенье заводит. Ночная сырость лезла за воротник, забиралась под рубаху, у меня зуб на зуб не попадал, будто я только что вылез из воды и мне не во что одеться. Но тут дядя Гриша скрипнул калиткой, мы поднялись на высокое крутое крыльцо, и он громко заколотил кулаком в дверь.

Загремели засовы, мы шагнули в темные сени, и я чуть было не упал, запнувшись о высокий порог. Отец опять успел меня подхватить, и я оказался в этой пахнущей керосином и топленным молоком кухне, где теперь сидят за столом мужики и где я, уже зевая, выпил кружку парного молока. Маленькая сухонькая женщина отвела меня на двор, где я, стеснясь, торопливо сделал свое дело, а она стояла поодаль и светила мне лампой, прикрыв ее от сквозняка узкой рукой. От лампы изломанно ложились красноватые отблески, а большие черные тени устроили вокруг бесшумную жутковатую пляску. Мне было стыдно и страшно, но я не решился признаться в этом и только поскорее застегнул штаны, хотя в этом не было никакой нужды, потому что через минуту я уже раздевался, и тетя Вера (так звали женщину) заботливо укрывала меня одеялом. «Спи, родной, — сказала она тихо и устало, — а мужикам я на полу постелю».

— А папа? — встрепенулся я.

— А папа твой рядом ляжет. Тут, на диване.

И я успокоился, согретый чужой заботой, и прикрыл глаза, успев заметить, как метнулся ламповый свет, озаривший тусклые оклады икон, большое настенное зеркало, стол и стулья вокруг него, а дальше, совсем смутно, — размытый профиль отца, его голос, что-то сказавший мне...

...Я и теперь просыпаюсь по ночам и в последний миг перед пробуждением вижу этот красноватый отблеск на его лице, слышу его голос, но никак не могу разобрать, что же он сказал мне. В гулкой пустоте ночи громко стучат ходики, и мне еще долго кажется, что я мал годами и где-то рядом со мной отец, который всегда подхватит меня и не даст упасть.

МОПАСАН

Вечером Гена под большим секретом передал мне завернутый в газету... учебник по черчению. Понизив голос до таинственного шепота, он сказал: «Там Мопассан, понял? Я выдрал несколько страниц из библиотечной книги... Если поймут, что это моя работа, хана мне. Ясно? Читай, и чтоб ни одна живая душа...»

Я кивнул и отправился восвояси, размышляя по пути над загадкой, которую в очередной раз загадал мне мой склонный к мистицизму друг. О Мопассане я что-то такое слышал, но зачем портить книгу, когда можно преспокойно взять ее во взрослой библиотеке, куда девятиклассник Гена, в отличие от меня, семиклассника, был давно записан, этого я не мог уразуметь. А спросить об этом Гену не решился. Он и так часто посмеивался над моей наивной неосведомленностью.

Дома я полистал выдранные с мясом страницы, засунутые для маскировки в корочки от учебника, но ничего интересного для себя не нашел: какой-то крестьянин подглядывал из-за кустов за купающейся девушкой, а потом набросился на нее и убил... На меня пахнуло чем-то тяжелым, мрачным, нездоровым... Я засунул запретные страницы в девственно белый переплет учебника, попил молока с ситником, полистал «Веселые картинки», забытые на столе сестрой Наташей, и лег спать, оставив «черчение» на подоконнике среди груды старых журналов и газет.

А наутро... Наутро я уехал с бабушкой в деревню Пирос на праздник Всех Святых. В праздничной кутерьме я совсем забыл о Мопассане, о Гене, о его наказе, «чтоб ни одна живая душа...» Назавтра бабушка уехала, наказав мне не шлаться допоздна и помогать тете Вере по хозяйству.

Бабушкиных заветов я, конечно же, не исполнил. Целыми днями мы пропадали на озере: купались, строили на мелководье крепости из песка и глины, ловили ершей с лодки-долбленки, собирали после дождя червей-выползков, ставили с рыбаками переметы.... И вскоре я, ничуть не хуже деревенских пацанов, управлялся с тяжелым, пропахшим смолой и рыбой баркасом, выбирал запутавшихся в снастях щурят, подлещиков и окуней, по берестяным поплавкам и глиняным катышкам грузил безошибочно отличал чужие сети от своих. А тихими летними вечерами, когда мы варили на костре тройную рыбацкую уху, рассказывал своим новым товарищам о

дальних странствиях и походах, о рыцарских турнирах и нападениях пиратов на торговые суда в Карибском море, о благородном пирате капитане Бладе и красавице Арабелле Бишоп...

Мерцали, дымясь и догорая, угли в костре, мерцало небо, отражаясь в тихой воде, звенели кузнечики в густой траве, и так хотелось, чтобы быстроходный пиратский галион отважного капитана Блада причалил к нашему берегу... А мы угостили бы его тройной рыбацкой ухой.

Что было дальше? К нам не причалил капитан, и остатки ухи в тот последний в Пиросе вечер мы вылили в пустую консервную банку для одноглазого кота Тарзана, обитающего среди развалин бывшего барского особняка. Что касается Мопассана... На учебник по черчению нечаянно наткнулась мама и на свою беду прочла все, что я тогда так и не прочитал. Нашла и надпись на обложке — «Васин Г. 9 класс». О чем говорили две очень строгих мамы, обсуждая вопросы воспитания своих повзрослевших детей, я не знаю. Мне, когда я вернулся домой, никто о Мопассане и слова не сказал. И только Гена, когда мы встретились после недельной разлуки, проворчал, выразительно покрутив пальцем у виска: «Ну, ты и...» И махнул рукой.

ВСТРЕЧА

Автобус трясло и подбрасывало. Санька держался за поручень и смотрел в окно на пыльные придорожные кусты, плотно обступившие разбитый в распутицу проселок. Измочаленными до белизны ветками то и дело хлестали они по серым от пыли стеклам, оставляя на них невнятные, как на промокашке, полосы и штрихи. Дорога была скучной и утомительной. Санька устал переминаться с ноги на ногу в забитом сумками и чемоданами проходе, устал придерживать рукой сползающий с плеча фотоаппарат «Смена», который с таким трудом выпросил у старшего брата в эту поездку. Бабушка тоже поглядывала в окно, а когда проезжали мимо кладбища, из-за ограды которого выглядывали кресты и памятники, перекрестилась и скорбно поджала губы.

Ехали в деревню. Бабушка везла с собой большую соломенную кошелку и старую заношенную сумку, которую отец обычно брал в командировку, когда работал заготовителем в сельпо. Сумка была почищена и непривычно пахла пирогами. Везли гостинцы. Саньке казалось, что пирогами пропахло все на свете: он сам, бабушка и даже автобус с молчаливыми озабоченными пассажирами. Ему было неловко за бабушку, особенно когда она при всех перекрестилась. Он даже слегка отодвинулся от нее и еще пристальнее посмотрел в окно, но там ничего интересного не было. Кладбище давно проехали, и опять вдоль дороги тянулись надоевшие кусты и заросшие желтой сурепкой поля.

Тогда он стал думать о том, как приедет в деревню и первым делом побежит на озеро. Оно такое большое, что в пасмурный день не видно другого берега. Волны лижут мокрый песок, шевелят осоку и тростник, который тихонько и горестно шуршит. Хорошо в такую пору лечь в лодке на корму, покачиваться и глядеть, как гонятся друг за другом рыжие кудлатые волны. Думать об этом было легко и приятно, и он не заметил, как автобус, распугивая кур, въехал в деревню, проскочил мимо сумрачного парка и остановился на площади около магазина.

Тетя Вера, издали завидев их, закричала: «Мама, я здесь!» Бабушка не торопясь выбралась из автобуса, приняла от Саньки вещи и только тогда обернулась и церемонно расцеловалась с тетей Верой. Людей на остановке было немного, они с любопытством смотрели на бабушку и Саньку, который хмуρο прыгнул с подножки и нехотя дал себя поцеловать.

Дома тетя Вера еще больше засуетилась, забегала из комнаты в комнату, то и дело выскакивая зачем-то в коридор и покрикивая на Тоню; потом усадила их за стол и принялась расспрашивать, усердно потчует Саньку рыбником и киселем. Он еле вытерпел долгую процедуру обеда — так хотелось скорей к озеру, но тут бабушка завела речь о его школьных успехах, о том, что пятый кончил почти на одни «пятерки»: «Учительница хвалила, она у нас молоко берет». Саньке было приятно слышать это, хотя он прекрасно знал, что заслуги его несколько преувеличены, и бабушка сама же и ругала его за лень и нерадение, когда он показывал ей тетрадки с «тройками», а то и «двойками», которых у него к весне становилось почему-то больше. Выслушав похвалу, он вылез, наконец, из-за стола, из вежливости погладил большого сонного кота и, хлопнув дверь, выскочил на улицу.

На берегу покачивались на вешалах зеленые водоросли сетей. Вдалеке, там, где вода почти сливалась с небом, белела маленькая опрятная церковка. Она манила к себе, притягивала; хотелось сесть в лодку и плыть туда, в эту синюю с золотом даль...

Озеро лежало перед Санькой покладистое, смиренное. От рыбацких баркасов, по-собачьи дремавших на обвисших цепях, пахло смолой и рыбой. Он скинул ботинки, закатал до колен штаны и с удовольствием вошел в воду. Ноги щекотала мелкая донная трава. Остерегаясь напоротья на стекло или камень, Санька брел медленно, неторопливо, хотя его так и подмывало пробежаться по мелководью во весь дух, поднимая за собой фонтаны брызг. Подобрал на дне плоский камешек-голыщ, он с силой пускал его понизу, чтобы надеть побольше «блинчиков». Но «блинчики» что-то ему не удавались. То ли камни попадались не те, то ли отвык он от этого замечательного занятия, но, чиркнув два-три раза по воде, они с глухим разочарованным бульканьем шли на дно. Тогда он решил ловить щурят. Заметив среди водорослей узкую пятнистую тень, осторожно подбирался поближе и, подняв ногами

невообразимую муть, пытался пяткой прижать к песчаному дну ошалевшего от страха щуренка. Но, разгадав его хитрый маневр, щурята заблаговременно шныряли в разные стороны.

Санька выбрался на берег, обулся и направился к развалинам старинного храма, густо заросшим сиренью, акацией и бузиной. Сирень уже отцвела, но от непролазных зарослей ее еще наносило тягучим приторно-сладким запахом, который почему-то напоминал Саньке кладбище с его тяжелой сумрачной тишиной. Честно сказать, он побаивался кладбищ, но те несколько полузасыпанных битым кирпичом могил, которые прятались в густой прохладной тени рядом с полуразрушенным собором, его не пугали. Кресты на них проржавели, ограды покривились и погнулись. Никто за ними не ухаживал, никому они были не нужны...

В гулкой пустоте храма пахло кирпичной крошкой, отсыревшей штукатуркой, голубиным пометом. Санька по привычке крикнул: «Э-э-эй!» — Обрадованное эхо, дробясь о пустые своды и захлопав птичьими крыльями, ухнуло в ответ и выпорхнуло на улицу. Он крикнул еще раз. Эхо теперь ответило сдержанно и как будто сердито: чего, дескать, орешь? Напуганные птицы, не решаясь вернуться, кружили над куполом. Санька поднял голову и встретился взглядом с парящим высоко вверху Спасителем, глядевшим на него пристально и печально. Ему стало стыдно, и почему-то вспомнились ему слова бабушкиной молитвы: «...Отца и Сына и Святаго Духа... Аминь». Каждый вечер, засыпая, он слышал их, зная, что бабушка молится за него, за его брата Витю и сестру Наташу, которую совсем маленькой укусила в лесу змея, когда они ходили за грибами. Сестру увезли в больницу, дом опустел, а бабушка каждый вечер зажигала лампадку и вполголоса шептала молитвы. Санька тогда тоже был невелик и еще не ходил в школу, но и тогда он понимал, что если не привезут какую-то сыворотку, то змеиный яд дойдет до сердца и тогда... Он подолгу не мог уснуть и, свернувшись под одеялом, горько и безутешно плакал, боясь, что Бог не услышит бабушку, и Наташа умрет. Когда бабушка, помолившись, укладывалась спать и засыпала, тяжело и прерывисто дыша, он осторожно поднимался с постели и, обратившись к иконам, тускло мерцавшим в старинных окладах, сквозь слезы, дрожание на ресницах, горячо молил Бога и Пресвятую Богородицу оставить в живых сестру Наташу, неумело кладя поклоны, как это делала бабушка.

Потом все говорили, что Наташу спасло чудо, что врачи уже потеряли надежду, потому что сыворотку привезли поздно и уколы уже не помогали ей. Она металась и бредила, и Янина Карловна сказала, чтобы готовились к самому худшему... Но однажды, когда мама, ночевавшая все эти дни в больнице, заснула, Наташа открыла глаза и еле слышно попросила бабушкиных щей. Потом все говорили, что это был перелом и что с этого момента все пошло на поправку. Бабушка ездила потом в Боровичи заказывать в церкви благодарственный молебен.

Через пролом в стене Санька вышел на взгорок, откуда видно было озеро, и присел на камень, под которым покоился когда-то прах действительного статского советника со странной фамилией Коржъ. Камень этот кто-то притащил сюда, и теперь на нем сидели все кому не лень.

Озеро все так же смирно дремало под солнцем и только вдалеке морщилось легкой сиреновой рябью. Там, как приклеенные, застыли лодки с рыбаками, казавшиеся отсюда маленькими, как игрушки. Санька знал, что рыбаки ставят сети или выбирают переметы, снимая с крючков широких пучеглазых лещей и горбатых окуней. Озеро блестело, отливая чешуей, и смотреть на него было больно.

От нечего делать он выломал ивовую ветку, очистил ее от листьев и коры. Получился длинный и кривой, как сабля, прут, который хотелось поскорее пустить в дело. Санька решительно ринулся в заросли лопухов и в одно мгновение смял их, изрубил в кашу. Прут из белого сделался зеленым. Санька огляделся: куда бы еще приложить свои силы. Но кругом стеной стояла рослая, равнодушная ко всему крапива, воевать с нею не было охоты. Он без сожаления выбросил «боевое» оружие, вышел на тропку и, посвистывая, направился вниз, к озеру.

Навстречу, прямо и независимо, поднималась незнакомая девчонка в легком голубом сарафане. Она, видно, только что искупалась. Стянутые аптекарской резинкой волосы влажно блестели, в руках она вертела белое вафельное полотенце. Санька прошел мимо и нечаянно поглядел ей в глаза. Они были настроенно-насмешливы.

Он спустился к самой воде, разделся, разбросав штаны и рубаху по траве, и, зябко ежась, зашел подальше от берега и нырнул. Зеленоватый сумрак, солнечные блики на песчаном, в мелких камешках, дне — таинственный и прекрасный мир, в котором запросто жил человек-амфибия. «Хорошо ему было, — думал Санька, пробкой выскакивая из воды. — Захотел — живи в море, не захотел — живи как все. Вот бы мне так...» И он представил себя смуглолицым Ихтиандром в костюме из рыбьей чешуи: вот выходит он лунной ночью на берег, чешуя красиво серебрится... Он стоит один-одинешенек. В это время выходит эта девчонка с полотенцем...

— Ко-о-лька! До-о-мой! — кричали откуда-то сверху. Санька обернулся. Женщина в белом платке стояла на бугре, где он только что сидел на камне, и махала оттуда рукой. Он посмотрел по сторонам: никакого Кольки в помине не было. Пожав плечами, Санька опять нырнул, а когда вынырнул, женщина была уже внизу и что-то сердито выговаривала. Вода попала ему в ухо, и он ничего не понимал. Попрыгав сперва на правой, а потом на левой ноге, он услышал:

— ...Окаянный! Зову его, а ему хоть бы хны!

— Тетенька, да я ведь не Колька.

— Никак и верно, не Колька. А где же он?

— Не знаю.

— А ты чей будешь?

— Ковалев.

— Какой это Ковалев?

— Я к Шориным приехал. С бабушкой.

— А-а, так ты, верно, Марусин сын? Вон оно что... А я думала — Колька. Вот те раз! — И она ушла, посмеиваясь и недоуменно покачивая головой.

Купаться почему-то расхотелось. Он вспомнил, что женщину эту зовут тетя Катя, что с Колькой Ивановым, которого она искала, прошлым летом они ловили с лодки ершей. На вечерней зорьке здорово клевало, и Санька в азарте распахивал скользких, «сопливых» ершей по карманам. Карманы потом высохли и заскорузли. Тетя Вера после этой рыбалки еще долго ворчала, что он испортил ей новую фуфайку.

Стало скучно. Захотелось вдруг рыбника с киселем, от которого он так легкомысленно отказался за обедом. Крепко, до белых пятен, выжав труссы, Санька оделся и напрямиком через парк зашагал к дому. В парке бестолково горланили потревоженные кем-то грачи и галки. С дороги слышалось утробное мычание и тяжелый размеренный топот — это гнали на дойку колхозное стадо. Чтобы не повстречаться с быком, Санька благоразумно свернул на тропку.

Бабушка и тетя Вера все так же сидели за столом. Только теперь вместо блюда с рыбником посреди его красовался большой медный самовар с медальями и горкой возвышались пироги и ватрушки, которые они привезли с собой.

— Садись-ка, желанный, чай пить. Набегался ведь... — Бабушка протянула ему кусок пирога и подала на блюдечке пузатую, потрескавшуюся от старости чашку. Санька, обжигаясь,пил терпкий, отдающий горечью чай, уписывал пироги и скупо отвечал на вопросы. Он почему-то вспоминал незнакомую девчонку с полотенцем. И было ему не по себе, точно он озяб.

ВОТ ОПЯТЬ ПРИХОДИТ ВЕСНА...

Была гулкая весенняя ночь. Хрустел и обламывался под ногами ново-рожденный ледок; пахло илом, прошлогодней травой и конским навозом, в великом избытии скопившимся на дороге за зиму. Река недавно «ушла». Никто не видел, как это случилось, потому что застрявший у Старого Перевоза лед тронулся ночью. К утру река была совсем чиста, и только редкие рыхлые льдины, шурша и обламываясь, плыли по мутной воде.

Обычно в эту короткую беспокойную пору под покровом густеющей тьмы на берегу появлялись отягощенные рыбацкой амуницией мужики.

То там, то здесь под набережной раздавался всплеск; тугой неповоротливый сак с натугой подтаскивали к берегу; слышно было, как колотится на земле пойманная рыба; вспыхивал жидкий пучок света, и в желтом его пятне заскорюзлые руки расторопно распахивали скользких доверчивых налимов и узких юрких щурят по засаленным холщовым котомкам. Мешкотно разобрав колпак из частой веревочной ячеи, вновь и вновь заводили тяжелый еловый шест над темной неспокойной водой...

На этот раз берег был на удивление пуст. Закончился в клубе последний сеанс, отгрохотавший пулеметными очередями и топотом конских копыт. Смясь и покуривая, на улицу из светлого проема двери вышли последние зрители. Некоторое время еще слышались их затихающие шаги и голоса, но и они вскоре замерли, и вот теперь, кроме тихого шелеста реки и звезд, мерцавших в ее текущей мгле, льдисто и нежно обламываясь и едва слышно звеня, ничего как будто бы и не было вокруг.

Ночь снизошла на меня, как наваждение, и я не знал, как ею распорядиться. Бесцельно бродя по набережной и вглядываясь в россыпи звезд, упавших в воду, я размышлял о бесконечности, тайна которой занимала меня в те давние дни. Но мысли путались, и я легко сбивался на другое. Река смутно блестя меж темных неподвижных берегов, а я зачем-то вслушивался в сырую рассеянную тишину, стараясь уловить, как журчит и всплескивает вода, подчиняясь таинственным силам Кориолиса, о которых я читал в учебнике физики. Все менялось в этой беспредельной ночи. Взошла луна, и еще ниже опустились звезды. Глубокие черные тени легли от дерева к дереву, от дома к дому...

...Долго сидел я на причальной тумбе, рассеянно глядя на воду, но вряд ли смог бы внятно сказать, о чем я тогда думал, вспоминал, а может быть, просто мечтал, как мечтают дети, когда им не спится и сладко щемит в груди. Я догадывался, что есть нечто общее, невероятно сложное и, вместе с тем, до удивления простое в том, что я чувствовал и переживал тогда, и в том, что происходило во всем этом безмерном мире, который открылся мне в ту ночь. Мне даже казалось, что влажное дыхание реки и мерцающий сумрак ночного неба только потому и связаны единой нерасторжимой связью, что есть я или кто-то другой, кому тоже не спится сейчас.

Бог знает, что мерещилось мне на берегу. Как в лунатическом сне, бродил я, не помня себя, по тесным плитам старинной набережной, спускался к самой воде, прикасался щекой к шершавым стволам столетних берез, подолгу стоял, привалившись к ним спиной, чувствуя, как стынут в мокрых ботинках ноги, как зябнет лицо. Помню, что пришло мне в голову пройти по узким перилам деревянного моста, и я пошел, раскинув руки и напрягая мышцы ног, ничего под собой не видя, кроме тьмы и лунных проблесков на воде. Я не испытывал страха, но, прыгнув с перил, долго не мог унять противную дрожь в коленях.

И только тут я почувствовал, как устал. Улицы были по-прежнему пусты, со всех сторон без умолку лаяли собаки, возбужденные необычно яркой луной и запахами, которые были в ту ночь так отчетливы и густы. Они поднимались от примороженной земли, текли от леса, с полей и дорог. Бесновались, гремя цепью, и наш Пират. Его голос, гулкий и чистый, я узнал издали, уловив в нем не свойственную собаке тревожную растерянность. «Пиратушка! Пиратушка!» — позвал я его, подходя к дому. Он заскулил, рванулся ко мне, забыв про цепь, и чуть было не опрокинулся навзничь — так силен был его рывок. Я обхватил его за шею, похлопал по лохматым бокам, чувствуя, как колотится собачье сердце. Он присмирел, лизнул меня в щеку, успокоился. Из огорода тянуло банной горечью и навозом, в хлеву ворочалась и вздыхала корова. Дом был темен и глух, будто покинутый всеми.

Толкнулось и сжалось в тревоге сердце, хотя я прекрасно знал, что все давно спят, и бабушка, когда я потихоньку закрою дверь на засов и, стараясь не шуметь, прошмыгну в спальню, обязательно проворчит спросонья: «Опять поздно пришел! Ужо батьку скажу...» А я молчком проскользну в свой угол у окна, разденусь, лягу в холодную постель и, дрожа от только что пережитого, буду вспоминать звезды в темной воде, опустевшие улицы, свои неясные мысли... И, может быть, скоро усну, не видя, как лунный свет хозяйничает в доме, рисуя на глухой стене четкий силуэт окна и старой березы, склонившей к нему свои слабые ветви...

Вот опять приходит весна. Я давно живу в городе, где пахнет паровозной гарью, а по ночам с тревожным прерывистым шумом один за другим проносятся скорые поезда. Иногда я гащу в комнате свет и смотрю, как мелькают они освещенными окнами, слушаю, как постанывают рельсы, когда поезд промчится и растает вдали, как эхо, которое никто никогда не видел. Я вглядываюсь в темноту за окнами и думаю, думаю о чем-то, уносясь мыслями неведомо куда. Еще не сошел снег, в темноте он смутно белеет, тускло блестят схваченные недолговечным льдом лужи на дороге — обычная, много раз виденная картина. Только почему в неясной тревоге сжимается сердце, когда выкатывается из-за соседнего дома медноликая луна и все меняет на свой причудливый вкус? Бездонной и гулкой становится ночь, наполненная шорохами и звуками, которых я не слышу сквозь двойные рамы. Ах, память, память!.. Что же делаешь ты со мной, возвращая в ту далекую пору, к тем берегам, где я теперь несчастный гость?

БУКЕТ СИРЕНИ

Гроза заходила с «гнилого угла», клубясь лиловой наволочью туч. Полыхая и погромыхивая, она мало-помалу заполняла собой синий окоём неба.

Не замечая глухой канонады грома, мы ловим в Рамшаге пескарей. Погода стоит жаркая, сухая — редкий день обходится без грозы. По пути в Рамшаг мы искупались у Рейки и теперь сидим на солнцепёке в мокрых трусах, рассеянно следя за поплавками.

Клюет плохо. Хитрые пескари забились под камни, поди выуди их оттуда. Отставив удочки, вооружаемся вилками, взятыми из дому, по щиколотку заходим в быструю, щекочущую донной травой воду, осторожно переворачиваем сизые, осклизлые валуны, собираясь вилками добывать укрывшихся под ними пескарей, но всякий раз успеваем заметить лишь рыжее облачко взбаламученного ила и узкую тень пескаря, метнувшегося прочь...

Есть хочется. Чтобы унять голод, делим по-братски хлеб, взятый для привады, жуём зеленую смородину, в зарослях которой прячем удочки со спутанными лесками и оборванными крючками.

Раскаты грома все громче, все настойчивей, все сильнее; тень нависшей над рекой тучи чернильным пятном расплывается по воде. Река морщится рябью, обдаёт стыльостью дождевой.

— Гроза будет, — говорит Гена. — Пойдем домой.

Засунув в тощую котомку мокрые сандалии, шествуем вдоль берега налегке, взбираемся в гору и, помедлив, лезем через дырку в заборе на кладбище — так к дому ближе и верней. Уклоняясь от жалающей со всех сторон крапивы, поднимаемся по тропке, пропадающей между могил, стараясь не глядеть на памятники и кресты, окутанные пахучими туманами сирени.

— Я маме сирени обещал нарвать...

— Какая сирень? Ты что, спятил? Гроза ведь...

— Я обещал...

— Ну и рви, раз тебе здесь остаться охота... — И Гена, демонстративно нахвистывая, уходит, оставив меня одного.

Звенит в ушах кладбищенская тишина. Иль это кузнечики звенят в траве? Я рву сирень, стараясь держаться спокойнее. Все в порядке — бояться нечего. Живых надо бояться, а не мертвых — так говорит бабушка. Верно она говорит. А здесь..... Здесь никого нет, даже Гены. Ушел Гена. А еще друг называется...

И тут вдруг польхнуло ослепительно и страшно... В глазах померкло; с трескучим грохотом разверзлись небеса, ударившись о землю; я невольно сжался и присел, ударившись о перекладину чугунного креста, сокрытого сиренью. «Капитанъ Эктовъ» — машинально прочёл я надпись на изъеденной ржавчиной табличке.

— Ну, как ты там, живой? — доносится до меня встревоженный голос Гены. — Здорово бабахнуло, да!? Давай я тебе помогу...

Обжигаясь крапивой, мы торопливо обламываем куст, оставив капитану самые крупные и красивые ветки наверху. Мой букет гораздо пышнее и гуще, чем у Гены.

— А мне и так сойдет, — говорит он. — Мама не любит сирень. Особенно с кладбища.

Гроза догоняет нас, грохоча, хохоча и сверкая, и мы уже не бежим — летим, как настёганные, не чуя под собой дороги. Сирень колыхается, роняя лепестки, и её томительный, завораживающий дух туманит мне голову.

— Слушай, друг, продай букет... — слышу я и не сразу понимаю, что слова эти обращены ко мне. Я замираю в недоумении, чувствуя, как колотится под рубахой сердце...

Замирает гроза, клубясь черными, как сажа, облаками. И только зарницы, хищные, как змеи, ветвятся по горизонту, отражаясь в окнах продмага, закрытого на переучет.

— Продай. Я тебе полтинник дам. Целый полтинник! В кино сходишь, конфет купишь... — Смуглый кудлатый парень в широком пиджаке извлекает из кармана лоснящийся крокодиловой кожей бумажник, достает из него деньги, много денег, целый пучок, вытряхивает из специального отделения мелочь...

— Вот, тут даже больше, бери, пока дают. Ну?! — Парень (я вспомнил, что его зовут Копчёным), обнимая за талию волоокую девицу, предлагает это не моему всё на свете знающему другу, — мне...

Я отступаю назад, прижимая сирень к груди, и молчу, испуганно глядя на него, ухмыляющегося фиксатой, воровской улыбкой, на улыбающуюся девицу, на Гену, стоящего в отдалении. Гена тоже молчит и как заворожённый смотрит на меня.

— Ну, хочешь, я тебе три рубля дам?! Пять рублей!..

— Нет, — чуть не плача, говорю я, вспоминая пустынное кладбище, таинственное колыхание сирени на ветру и весь этот томительно долгий день, успевший ещё до грозы вместить в себя так много: купание у Рейки, оскомину невызревшей смородины во рту, пескарей в Рамшаге, ржавую подкову, найденную на дороге... — Нет! — повторяю я с отчаянием и угрозой. — Нет! Я ни за что не отдам сирень... — И прижимаю букет к груди, чувствуя живой его холодок, остужающий сердце.

— Ну и дурак, — спокойно говорит Копчёный, пряча деньги в кошелёк. — Дурак ты, парень, не нужен мне твой букет. Пойдем, Тома...

«В ЧИСТОМ ПОЛЕ, ПОД РАКИТОЙ...»

Давно нет той старой ракиты, которую когда-то посадил возле бани отец. Обомшел и затрухлявел широкий, косо опиленный пенёк, и растёт вокруг него крапива да лебеда. А было время, когда вольно шумела на ветру ее широкая округлая крона, и на крышу, на колодезный сруб дождем летела узкая, как сушеный снеток, листва.

Обиженный и сердитый, бывало, взбирался я на самую макушку, покачивался на тонких упругих ветвях, мстительно желая и в то же время боясь сорваться вниз, на грешную землю, где так мало справедливости и где ни за что ни про что запросто могут отстегать прутом... И вспоминалось мне, как бабушка, рассказывая о погибшем на войне сыне, на которого, как мне говорили, я был похож, всякий раз заключала рассказ свои словами: «В чистом поле, под ракитой, богатырь лежит убитый...» И концом головного платка смахивала слезы.

В зеленой дырчатой тени понемногу оттаивало сердце, и я, незаметно для себя, начинал смотреть с высоты уже заинтересованным, исследовательским взглядом. И лишь на доньшке души лягушиной слизью еще вздрагивал сгусток неизжитых детских обид.

Никем не замеченный, я наблюдал сверху, как дремлет, отмахиваясь лапой от мух, лохматый Пират, как копошатся в песке глухие куры, которых Пират время от времени пугал, твякнув спросонья. Жизнь на дворе замерла и, по всему видно, надолго. Зато дальше, на пруду, затаянтом ряской, затевалось нечто интересное. Братья Блохины пытались сплунуть в воду огромный, проржавевший с боков бак. Голян пыхтел, изо всех сил стараясь сдвинуть с места этот незнамо откуда притащенный дредноут, прилепившись к нему с угла, а Колян с Сашкой несладко толкались сзади. Я собрался было слезать и немедленно бежать к ним на помощь, но, вспомнив вчерашнюю драку, усмирив в себе этот благородный порыв и даже отвернувшись в другую сторону, заглядевшись на возчика дядю Яшу Барулина, который вез на склад ящики с вином. Громыхающая поклажа, крест-накрест перетянутая веревками, елозила по телеге, бутылки разноголосно брэнчали, и этот веселый переливчатый звон невольно заставлял оглядываться всех, кто в этот час очутился неподалеку.

— Здорово, Яша! — крикнул, наполовину высунувшись из окна, дядя Коля Коровин.

— Здоровенько! — степенно ответил ему возчик и, громыхая, покатил своей дорогой.

А Коровин, еще раз оглядев улицу и, не найдя там ничего интересного, с треском захлопнул раму.

Братьям, между тем, удалось приблизить неподъемную посудину к берегу. Все оказалось просто: откуда ни возьмись, явился вооруженный колом Валерка Селюгин и, покрикивая на мальшней, взял дело в свои командирские руки. И вот бак, гулко громыхнув боками, закачался в теплых застоявшихся водах.

Общими усилиями в бак посадили маленького Кольку. Тараща от страха глаза, он ухватился мертвой хваткой за борт, бак покачулся, накрепился и медленно, точно во сне, опрокинулся, накрыв Кольку с головой. На мгновение все замерло. Но тут же, не сговариваясь, кинулись в воду вызвать бедного Кольку из железного плена.

Я не выдержал, сполз с дерева, перемахнул через забор и напрямик понесся к пруду.

— Давай сюда! — крикнули мне вцепившиеся в бак пацаны. Я прилепился сбоку, наткнувшись в воде на чьи-то скользкие пальцы. Колька дурным матом орал внутри.

— Раз, два, взяли... — сипло командовал Валерка, орудуя шестом, — хвост подняли...

Грузный, неподъемный бак вдруг качнулся и подался вверх. С шумом вырвался из-под него пузырь воздуха, плеснула волна, и бак увалисто лег набок. Перепуганного насмерть Кольку мы вытащили на залитый солнцем берег. Зеленый от ряски, он сидел на траве и, нервно вздрагивая всем своим худеньким телом, глухо, с надрывом икал.

...Давно нет той старой ракиты, давно нет и пруда — его засыпали, построив на его месте дом, обыкновенный деревенский дом, с огородом, двором и баней. По ночам соседская собака Альма, дребезжа проволочной привязью, натянутой вдоль забора, беспокоило лает, мешая мне уснуть. Я открываю окно, вслушиваюсь в голоса и звуки душной августовской ночи и, незнамо почему, вспоминаю горестное бабушкино присловье: «В чистом поле, под ракитой, богатъер лежит убитый...»

«ВСЕ ПО ПУТЮ...»

Когда к нам приехал племянник отца Авенир, человек веселый, по-сибирски щедрый, наш добропорядочный дом превратился в некое подобие вертепа. «Всё по пути...» — к месту и не к месту повторял Авенир, и они с папой, приодевшись, уходили «на бульвар», и возвращались, как правило, поздно вечером и изрядно навеселе. Папа молча раздевался и ложился спать, а Авенир еще долго смешил нас, показывая фокусы со шнурком и пробкой от одеколона, учил приемам джиу-джитсу..

Санька неотступно следовал за ним, как хвостик. И отнюдь не бескорыстно. В каждом шалмане, в каждом буфете, где Авенира за его щедрость принимали как родного, он покупал Саньке, пряники и конфеты, всякий раз напоминая ему: «Ты это, с братом-то и сестрой поделись...». Но Санька делился с нами крайне скупно и неохотно, хотя карманы его пальто каждый день предательски оттопыривались от Авенировых гостинцев.

Авенир поразил меня и своим странным летучим именем, и синеватой вязью татуировок на груди и руках, и золотыми фиксами во рту, и галстуками, — он менял их ежедневно вместе с рубашками, коих у него было не менее дюжины... С особым шиком Авенир носил шляпу с широкими полями, дорогой двубортный костюм в частую полоску, черное долгополое пальто, которое он называл макинтошем. Грязь, казалось, вообще не прилипла к нему. И каким бы хмельным он ни вваливался домой, неизменно был

аккуратен, точно какая-то неведомая сила переносила его через канавы и лужи, через разливанное море грязи осенней...

Однажды они с отцом где-то крепко подгуляли, и Авенир явился домой, держа его на руках, как раненого.

— Степаныч тут маленько приослаб... — ухмыльнулся он, слегка качнувшись, и аккуратно опустил отца на скрипнувшую под его тяжестью кровать. — Всё по пути, Маша, не переживай...

Бабушка после этого случая прониклась к нему большим уважением и легко простила ему бузу в буфете, которую он учинил «из-за какого-то козла», порвав в драке рубаху и измазав в крови синий, в косую полосочку, галстук.

— Там одна пьянь да голодранцы. И правильно, что Авенир Иваныч не смолчал, — поджав губы, с достоинством ответствовала бабушка участковому дяде Коле Иванову, который и привел расхристанного Авенира Ивановича домой.

— Всё нормально, Анна Николаевна, — сказал участковый. — Протокол я не буду составлять. Разобрались...

Как-то раз Авенир застал меня за рисованием якоря на тыльной стороне ладони, точно такого же, как у него... Я старательно обводил авторучкой контур уже готового рисунка и не заметил, как он подошел.

— А вот это ты зря, — расстроено протянул он. — Я все это по глупости сотворил, а тебе-то это зачем? Ты вот книжки умные читаешь — молодец, а я читать не люблю, мне подавай что-нибудь техническое, вроде инструкций по эксплуатации. Я ведь инженер-электрик. А знаешь, братец, какой кровью мне дался этот диплом? Учись, пока учат, потом труднее будет. Поверь мне.

По ночам за печкой нудно и однообразно скрипел сверчок.

— Кто там у вас шумит? — спрашивал Авенир Саньку.

— Это сверчок, дядя Авенир, — отвечал Санька.

— Какой я тебе дядя? Я твой брат. И Володе брат, и Наташе... А сверчку своему скажи, чтобы не шумел, спать он мне мешает. Усёк?

— Усёк, — послушно отвечал Санька. — А как же я ему скажу? Он ведь не слушает меня.

— А ты так скажи, чтобы послушал. А я тебе за это пряник куплю. Печатный.

— Не бывает таких пряников, — не унимался Сашка. — Буквы печатные есть, а пряников нет. Есть «Подмосковные», они в Подсельпо у тети Шуры Шалимовой продаются.

— Есть такие пряники, братец. Есть. А насчет тети Шуры Шалимовой ты прав. Девка она симпатичная. Всё по пути...

«Всё по пути» было для инженера-электрика из города Рубцовска Авенира Ивановича К Он рано вставал, долго и с удовольствием брился опасной бритвой перед маленьким зеркалом, висевшим над умывальни-

ком. Выпив кружку черного, как дёготь, чаю без сахара, выходил на улицу, курил, задумчиво глядя вдаль.

— Хорошо у вас тут, Вовка, — говорил он со вздохом, — тихо, спокойно. Правильно батя твой сделал, что приехал сюда. Одобряю. Хорошее место. Но я бы тут сдох с тоски. Мне подавай шум, гам, суету... Я бы, может быть, и остался здесь, если бы Шурочка Шалимова была поговорчивей... Но тебе об этом еще рано знать. Всё по пути...

...Уезжал Авенир сереньким ноябрьским днем. Моросил дождь. Когда подошла машина, отец помог ему погрузить вещи: чемодан и вещмешок. Попрощались. Бабушка всплакнула, но тут же оборвала себя: «Поезжай, желанный, с Богом. Ангела-хранителя тебе в дорогу». Санька с Наташей вертелись рядом.

— Ну, вот что, братец, пряник печатный я тебе обязательно пришлю. Знай, есть такие пряники на белом свете. В городе Туле их пекут. — Он погладил Саньку по стриженной голове. — Тебе, сестрица, я куклу говорящую привезу. Бо-ольшую, ростом с тебя. А ты, Володя, — он крепко сжал мою руку, — читай свои книжки, умней... Умных людей, брат, всегда не хватает.

Он уехал. Мама с бабушкой вздохнули свободнее. Но в доме сразу стало как-то тише и печальнее, точно за печкой перестал петь свою скрипучую песню надоевший гостю сверчок.

ДЕТИ, БЕГУЩИЕ ОТ ГРОЗЫ

— Отвернись, — жалобно попросила она. — Я разденусь...

Дождь бешено стучал по крыше амбара, плескался в лужах, шумел в лесу. Он отсек их от мира непроницаемой стеной воды, и они молчали, с невольным трепетом внимая тому, как с грохотом обрушивается гром и, вспыхнув, раздраются в клочья небеса. Лес стонал и ухал в ответ, как филин, которого нечаянно вспугнули во мгле. Сизая, с прозеленью, мгла, пахнущая сенной трухой, пылью, мышами и стылой дождевой сыростью, объяла их, завесив своим зыбким пологом, и сквозь грохот и шум он услышал ее тихий голос:

— Раздевайся и ты.

— ???

— Раздевайся, раздевайся! И вешай все вон туда. Да не туда, а туда... Какой же ты бестолковый! И не поворачивайся. Рано еще.

Он слышал, как она снимает через голову мокрое, липнущее к телу платье, как отжимает его, как струйками стекает наземь вода. Боясь повернуться, он застыл, как истукан.

— Ну же! — услышал он. — Чего же ты ждешь? Иди, согрей меня. Мне холодно...

Непослушными, белыми от воды пальцами он стащил с себя рубаху, выжал ее и повесил на жердь, служившую, видимо, яслями для сена. Там уже висело ее легкое светлое платье и нежно розовело что-то еще более легкое, еще более невесомое. Он выжал вымокшие до нитки штаны, оставшись только в узких дурацких плавках с тесемками, которые надел, собираясь, по дороге к ней, искупаться в реке. «Искупался называется», — с веселым отчаянием подумал он и, стараясь шагать ровнее, направился в угол, где (еще когда они только вбежали сюда) он успел заметить клок прошлогодней соломы и обрывок дерюги, которой, наверное, накрывали запаленную бегом лошаадь...

— Я здесь...

Закрыв почему-то глаза, он ощупью, точно слепой, пошел к ней навстречу, ясно видя ее сквозь плотно сомкнутые веки. Он видел, как скрестив руки на груди сидит она на соломе, мелко дрожа своим незагорелым еще телом, как покрывается пузырьшками нежная, в детских царапинках, кожа на руках... Охваченный такой же дрожью, он сел рядом, крепко обхватив руками свои голые колени. Но дрожь не унималась, хотя, странное дело, ему было совсем не холодно.

— Ну, иди же ко мне. Чего ты боишься, дурачок?

В голосе ее была незнакомая ему взрослая ласковость, которой он, неожиданно для себя, повиновался, потянувшись к ней. Он уткнулся в мокрые ее волосы, ощутив исходящий от них теплый запах земляники и кислицы...

Дождь шумел и шумел в лесу. И шум этот, раздираемый раскатистым грохотом грома, то слабел, то нарастал, напоминая шум воды на перекатах.

Та ночь у реки теперь казалась ему сном. Да она и была сном, перемешанным с явью.. А явью было то, что она дремала на его плече, укрывшись его пиджаком, а он дрожал в своей белой рубахе и никак не мог унять той болезненной дрожи, которая и теперь терзала его, испепеляя неугасимым внутренним жаром.

— Ты дрожишь? — удивилась она. — Тебе холодно? Обними меня покрепче и нам будет тепло...

Он робко обнял ее, прикрыв дерюжкой, и закрыл глаза, увидев вдруг ее и себя каким-то отчужденным, точно со стороны, взглядом. На нем был темный в мелкую клеточку костюм, купленный родителями к выпускному вечеру, а она... Она была в необыкновенно легком, невесомом платье, которого он никогда на ней не видел. Видение это мелькнуло, как вспышка магния, и тут же погасло, исчезнув во мгле. Он зябко передернул плечами и огляделся. Конюшня показалась ему до странности знакомой, будто он уже был здесь и заведомо знал, что в правом от ворот углу валяется тележное колесо с выбитой ступицей, а чуть дальше, распластавшись на земляном полу, лежит деревянная борона с выломанными зубьями... Все

так и было. И обрывки веревок и гужей на ржавых крючьях, вбитых в стену, висели именно там, где и должны были висеть, и жестянка из-под тележной мази стояла именно там, где и должна была стоять — на узком, решеткой забранном оконце... Волна внезапного, мучительного жара сжала ему сердце. Дрожь отпустила его, как отпускает зубная боль. Он еще теснее прижался к ней, ощутив мокрой щекой теплый трепет жилки на ее виске.

— Так лучше?

Она молча кивнула в ответ.

Налетавший порывами ливень то судорожно пересчитывал дранку на крыше, заливая конюшню сквозь дыры и щели, то с размаху бросался на новый приступ, серебряными стрелами впиваясь в стены... Гроза малопомалу стихала, уходила и вновь, точно забыв что-то, возвращалась, чтобы опять отступить в глубь мокрого взъерошенного леса.

Если бы они знали... Но что могли знать дети, бегущие от грозы? Угревшись под старой рогожей, они молчали, не желая думать о том, что скоро отгремит гром, стихнет дождь, и они лишатся пусть временного и ненадежного, но единственного в их жизни совместного пристанища, укрывшего их от грозы.

И щедрое полуденное солнце, которое вскоре высушило лужи, наполнив лес золотым сияньем, запахом хвои и гомоном птиц, лишило их этого ветхого обиталища и всякой надежды на то, что они когда-нибудь обретут его вновь.

ЕХАЛ ГРЕКА...

Была такая смешная детская скороговорка: «Ехал грека через реку. Видит грека — в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку — цап!» Помнится, скороговорка эта... тьфу, — скороговорка, никак не давалась мне, я сбивался, не дойдя до середины, начинал сызнова, снова сбивался и... опять все начинал сначала... Вся моя жизнь — сплошная скороговорка, не успеваю понять, не успеваю спросить, не успеваю слышать, да и сказать-то не успеваю, запнувшись на полуслове...

Ехал грека через реку...

Мне вспоминается лодка, полная людей. Вот-вот черпнет она воду, темную мстгинскую воду, мстгительно кипящую вровень с бортом, за который держусь я, сидя на корточках рядом с отцом. Мы едем в деревню на том берегу. Там, на недостигаемо высоком берегу, лают собаки, пищит гармоника... Там праздник — Ильинская Пятница.

Правит челном высокий горбоносый мужик в яловых сапогах. Капли воды ртутными шариками скатываются с жирных от дегтя сапог, когда он, круто взмахнув веслом слева, возвращает его вправо, почти без

всплеска погружая весло в кипящую, взбаламученную быстрым течением воду...

Мне кажется, что мы замерли посреди реки, как на привязи. Я недоумеваю: неужели никто не видит, что мы стоим, что лодка вот утонет, что ее уже несет вниз по течению, на пороги, шумящие вдали... Я гляжу на мужиков, беззаботно дымящих папиросками, оглядываюсь на отца, расхохотавшегося в ответ на чью-то, не понятую мной шутку, и, невольно заражаясь его невозмутимостью, уже почти без страха смотрю на воду, бурлящую за бортом. А чтобы отвлечься, вспоминаю детскую скороговорку: ехал грека через реку...

Грекой представляется мне длинный горбоносый мужик с веслом. Капли капают с мокрого весла, вода журчит, точно в жмурки играя... В быстрой воде не видно мальков, не видно водорослей, и лишь сутулые спины валунов, похожих на тюленей, темнеют в рыжих, подсвеченных солнцем глубинах.

Ехал грека через реку, видит грека — в реке рак...

Никакого рака я не вижу, но инстинктивно разжимаю руку, перестав цепляться за смолистые доски борта, и чуть не падаю навалившись на отца. Чиркнув днищем о береговую гальку, челн встал, уткнувшись в берег. Один из мужиков шагнул в мелкую, по щиколотку, воду, ухватился за скобу, и, как большую черную собаку, выволок лодку дальше, на песок, привязав ее цепью к большой, вросшей в землю колоде.

И вот мы сидим за столом, покрытым клеенкой, пьем сладкое деревенское пиво, закусываем... Впрочем, пиво пьют мужики, я довольствуюсь молоком и пирожками с маком.

— Иди, погуляй с Колькой. Он у меня парень смирный... Колька! — строго и многозначительно говорит хозяин взъерошенному конопатому пацану, на миг показавшемуся в дверях...

...Дрались мы жестоко и долго. А из-за чего — не помню. Мы катались по траве, забыв о новых рубашках, надетых к празднику, забыв о самом празднике, забыв о том, кто мы такие и зачем оказались здесь... Стихия драки поглотила нас, как вешняя вода, не знающая утомону. Колька дрался дерзко, умело, я отбивался, как мог, а когда он свалил меня, подло подставив подножку, я не выдержал, и, не помня себя от обиды, вскочил, сгреб его поперек жилистого туловища и вместе с ним рухнул наземь, прижав его обеими лопатками к траве. Он ужом извивался подо мной, пыхтел, ругался, плевался... Но сделать со мной ничего не мог.

— Все, сдаюсь, — прохрипел он.

Я отпустил руки, и тут мстительный Колькин кулак снизу смазал меня по лицу. На траву, на Кольку, на новую Колькину рубашку из разбитого носа брызнула кровь. Я встал, зажимая нос рукой.

— Айда на реку! — крикнул Колька, схватив меня за руку. — Кровь замывать...

Кровь долго не останавливалась. Капая, она тенетами распускалась в воде, постепенно в ней растворяясь. Привлеченные запахом крови мальки толпились у моих ног, как пьяные.

— У тебя кровь вся вытекет, — сказал Колька, с жалостью глядя на меня.

— Не вытекет, — ответил я, хорошо зная, что надо говорить «не вытечет».

— Ты ляг на траву, так хоть кровь при тебе останется. Батя говорил, что крови у человека мало, меньше ведра.

Запрокинув голову, я лежал на теплой, прогретой солнцем траве и видел иной, как бы в воде отраженный мир. И не было в этом солнечном мире ничего, кроме щемящей жалости ко всем, кто остался на земле. Мне было жалко Кольку, жалко отца, мать, бабушку, сестру и брата, жалко было Греку, и того, кто правил лодкой, и того, кто сунул руку в реку... Мне было жалко всех. И жалко было того жалкого, смешного рака, которого вытащил из-под коряги, желая развлечь меня, расстроенный Колька.

— Брось его в реку, — попросил я. — Пусть живет.

— Пусть, — великодушно согласился со мной Колька и выбросил рака в воду.

ЗВЕЗДА ПОЛУНОЧНАЯ

«Мне улыбка твоя, как звезда полуночная, светит...» Строчка эта, возникшая под стук вагонных колес, когда, измученный тоской по тебе, я уезжал из золотой осенней Москвы, не нуждается в продолжении. Добавить тут нечего.

Ты бродишь по Гостиному двору, где когда-то, очень давно, бродил и я. Зачем бродил, я и сам не знаю. Ничего там мне было не нужно. Я поднялся по мраморным лестницам, отражаясь в бесчисленных зеркалах. Длинный, худой, испуганный и упрямый отрок смотрел на меня из Зазеркалья. Смотрел и не узнавал себя. Не таким, совсем не таким, хотелось мне себя видеть.

Но я был таким, и таким бродил по лабиринтам Гостиного двора, останавливаясь, да и то ненадолго, в отделе, где продавались рыболовные снасти, маски, ласты и сияющие хромом и никелем подводные ружья... И я мысленно примерял на себя подводное снаряжение, мысленно погружался в голубую морскую воду, доставал со дна морского жемчуг, целые россыпи жемчуга и дарил их тебе, милая моя...

Я еще не знал, кто ты, как ты выглядишь, не слышал твоего милого голоса, не видел сияющего твоего взгляда... Но уже тогда я знал, что ты, конечно же, хороша собой, умна, мила и добра... Я видел тебя иногда в любимом твоём платье, красном, в белый горошек... Оно очень шло тебе,

и ты знала об этом. Ты легко поводила плечиком, когда проходила мимо меня, и как бы ненароком оглядывалась, поднимаясь на ступеньку трамвая... Я вскакивал за тобой следом и ехал вместе с тобой, не имея ни малейшего представления, куда идет этот старый, дребезжащий деревом и железом, трамвай...

Я не решался смотреть на тебя пристально и поглядывал в твою сторону искоса, то и дело поднимая глаза от книги, которую читал тогда... Это была «Дорога никуда» Грина. Книга нравилась мне своей мрачноватой таинственностью, которую я примерял к собственной жизни, совсем не похожей на жизнь одного из героев этой книги Орта Галерана, «человека лет сорока, прямого, худого, крупно шагающего...» В Галеране меня смущала трость черного дерева и широкополая белая шляпа, которую он по своему обыкновению носил. Я не мог представить себя в белой шляпе с черной тростью в руке. Но он, как и я, любил книги, он много читал.

Сказать, что я читал много, значит, ничего не сказать. Я читал всюду, везде, погружаясь в сладостный и прекрасный мир приключений, в мир погонь и перестрелок, в мир неведомых мне запахов и звуков... Скрежет якорной цепи и портовой лебедки, резкое, как удар бича, хлопанье парусов, журчанье воды под килем, шум прибора... А запахи, какие запахи источал этот таинственный мир! Запах дорогого трубочного табака (Галеран курил трубку), запах пеньки и манильского троса, запах ямайского рома и настоящего шотландского виски... Я не имел ни малейшего понятия, как пахнут эти восхитительные вещи, но запахи эти будоражили мое воображение.

Я принимал за них запах булыжной мостовой, бакалейный запах кофе и жаренных в масле пирожков, которыми, равно как и мороженым, тогда торговали повсюду. Обычно я покупал один пирожок, без пересчета наличности зная, что на второй у меня нет денег...

Безденежье не тяготило меня. Я искал работу и мечтал о тебе. Я вглядывался в лица, ловил мимолетные взгляды, запоминал поворот головы, и легкий, как полет ночной бабочки, взмах ресниц... И однажды этот взмах, этот ясный внимательный взгляд на мгновение остановился на мне...

Глаза у тебя были серые и печальные. На коленях ты держала книгу. «Джесси и Моргиана» — прочел я на тисненем корешке. Ты тоже читала Грина и тоже ехала куда-то без ясной цели, вперед и вперед... Ты никуда не спешила. И я никуда не спешил. Трамвай, как старый одноногий инвалид, долго ковылял по городу, долго позвякивал звоночками и шипел дверными механизмами. Ты читала книгу, смотрела в окно, поглядывала на меня... И я, растерянно улыбаясь, смотрел на тебя...

До сих пор не могу понять: почему я не подошел тогда к тебе, милая моя, звезда ты моя полуночная?

ТУМАН

До вечера катился по Заречью шепутной и пьяный деревенский праздник. Начался он чинно-благородно, с запаха пирогов и сдобы, а за полдень как-то сам по себе сбился в обыкновенную гулянку. Гуляли уже устало, с надрывом. То там, то здесь взвизгивала гармошка, но ничего путного хмельные гармоники сыграть уже были не в состоянии. Да и чего было ждать от них, когда и на трезвую-то голову они ничего, кроме переборов «запрягу да выпрягу», отродясь не играли? Гармонистов в деревне было двое, и оба беспутные — не было случая, чтобы в самое веселье не подвели они праздник, незаметно, но дружно надрызгавшись так, что их волоком, одного за другим, приходилось «вывозить» из-за стола. Гармонь брал кто-то из гостей, нудно и неумело пиликал, но, помучившись и всем до смерти надоев, отставлял в сторону. И больше о «музыке» никто не вспоминал. Догуливали на сухую. Под лихие частушечные припевки дробно топотали по крашеному полу: широкие половицы постанывали и скрипели, звенела и вздрагивала на разоренном столе посуда, но этого никто уже не замечал.

Праздник шел на убыль. Солнце, умаявшись за день, устало клонилось к лесу, желтыми пятнами красило реку, напоследок, словно из милости, пригревая береговую траву и крутые спины валунов, наполовину торчащих из воды. Лето в тот год выдалось жаркое, река рано обмелела, но силы своей не теряла и все так же гневно шумела, перекачиваясь через остатки мельничной запруды. Гул этот не стихал ни днем, ни ночью; в ночь становился слышней, отчетливей и отчего-то не успокаивал, а, наоборот, бередила душу, наполняя сырую темень возбужденным спором камня и воды.

Остывали нагретые за день ступеньки старой, никому теперь не нужной лестницы. Наполовину заросшая осокой и ежевикой, она потихоньку доживала свой деревянный век. Дом, откуда спускалась она к самой воде, вот уже несколько лет стоял заколоченным и тоже потихоньку дряхлел, оседал, обрастал крапивой и лебедой. Давно выветрился из него живой избяной дух и наносило от него не то пепелищем, не то заброшенным кладбищем.

Когда-то давным-давно повесился здесь живший бобылем пастух Павлуша Морозов. Случилось это таким же летним вечером, а может быть, и ночью. Зашел накануне к Шибанихе, попросил спичек и соли, посидел молчком у порога, выкурил пару узких коротеньких сигарет (он называл их кисленькими) и ушел без слова. Хватились пастуха через сутки. Дом на замке, а хозяина нет и нет. Подумали сперва, что утонул — на озере он держал вертлявую долбленную лодку да пару сетенок собственноручного изготовления; с тех пор, как бросил пасти, помаленьку кормился рыбалкой — пенсия у Павлуши была маленькая. Припомнили, что сети он будто

бы собирался посмотреть и даже карасей бабке Дуне Жуковой будто бы на рыбник посулил... Гадали до тех пор, пока смертный дух не поплыл по деревне, а соседская собака Найда не завывала в глухой беспросветной тоске, в одиночку оплакивая покойника.

Нашли Павлушу на чердаке. Морщась, сняли с пыльной поперечины, наскоро сколотили в колхозной мастерской гроб и назавтра схоронили. Родни у бедного пастуха не было, и похороны прошли тихо и скромно. За гробом плелись деревенские старухи да некстати загулявший тракторист Алеха Шешин. Яму Павлуше выкопали в бурьяне у кладбищенской ограды, где и не хоронили-то никого. Так и лежит он с тех пор под оплывшим травянистым холмиком с простым деревянным крестом-домиком, каких теперь и не ставит никто.

Туман зависал над водой, копил свою белую, все скрадывающую силу и до поры до времени таился, прижимаясь к берегам. Не скоро и словно нехотя и неизвестно откуда пала роса. Заблестела и пригнулась осока, набрякло ночной влагой старое дерево, и темные камни засеребрились холодной испариной. Туман затопил речную излучку белым клубящимся маревом; исчезли береговые очертания, глуше стал шум воды, и резче, отчетливее потекли запахи реки и засыпающей деревни. Праздник сам собой утих. Ни голосов, ни песен, ни топота, ни смеха. Только изредка встряхивались и кудахтали в чьем-то курятнике сонные куры да хрипло и редко бухали в ночи деревенские дворняги. Шум воды и туман, которым исходила река и в котором тонула и вязла деревня, да редкие высверки автомобильных фар на черном куполе неба — больше, казалось, и не было ничего в целом мире.

Но нет, это было не так. Весь вечер и всю недолгую летнюю ночь на ступеньках у самой воды сидели двое. Никто не помнит, как звали его, случайно попавшего на деревенский праздник, забыли давным-давно и ее, приехавшую погостить к бабушке, а после ее смерти никогда здесь больше не бывавшую, никто не помнит и всех обстоятельств того дня и той ночи, которая уж никогда для них не повторится, как и ничто не повторится никогда. Но это над ними прошумел и затих деревенский праздник, это они видели, как рождался, расплываясь по воде, туман, как обволакивала усталую землю ночная мгла...

Все вокруг спало, и только они стерегли необъятный мир. Вряд ли бы они сумели уберечь его от беды, но в том, что они не спали, в том, как тихо сидели на старых ступеньках, боясь потревожить друг друга, была великая надежда мира на вечность и обновление. Было это явью или сном — теперь вряд ли кто скажет, но ведь была и есть деревня на берегу, осталась вечная, как мир, река, все так же ревушая на развалинах мельничной запруды. И в памяти остался тот вечер, та короткая летняя ночь, незаметно истаявшая, как туман с появлением солнца.

«Я ТЕБЕ НАПИШУ...»

Он ещё тогда смутно догадывался, что всё это он должен пережить и обо всём этом когда-нибудь рассказать. И об этой бугристой дороге в угрюмом лесу, где когда-то заблудился царь Петр, и о том напряженном молчании, которое тяготило их, и о том, как время от времени она останавливалась и вытряхивала песок из стареньких босоножек, цепляясь при этом за рукав его белой рубахи... Как в глубине леса глухо и горестно вдруг закуковала кукушка, и она, не глядя на него, сказала: «Это она тебе кукует, а не мне». «Почему?» — недоумённо спросил он. «Не знаю», — пожалала плечами она.

Так дошли они до крохотной станции, представлявшей собой исхлестанную дождями будку на помосте из бревен.

— Твоя электричка пойдет через час, — легкой скороговоркой проговорила она, глянув на часики, блеснувшие на запястье.

— Я тебя провожу...

— Не надо. Я сама дойду.

Помолчала, и, пристав на цыпочки, коснулась сухими губами его щеки, выдохнув в самое ухо: «Не приезжай пока, я тебе напишу...»

Он закурил, поперхнувшись от дыма. Она обернулась и крикнула: «Не кури! Тебе не идет». — И, помахивая веточкой, сорванной по дороге, свернула на тропку, взмахнув на прощанье рукой.

Эту веточку, и этот взмах, и её, уходящую за поворот, он запомнил навсегда. Запомнил он и мужиков в прокуренном вагоне, когда сидел, опустошённый, привалился плечом к мутному стеклу и, не видя ничего, вглядывался в мелькавшую за окнами даль.

— Эй, парень, — окликнули его, — в «дурака» играешь?

Он пожал плечами.

— А чего хмурый такой? Умер кто?

— Нет...

— Давай тогда сюда. — И протянули ему стакан. — Выпей, легче будет.

Он послушно поднёс ко рту граненый, захватанный пальцами стакан, отхлебнул. Тёплый, разбавленный водой спирт опалил ему горло, вызвав приступ резкого, удушливого кашля. Мужики захохотали, а один из них — худой, горбоносый — хлопнул его по спине и, скаля железные зубы, сказал: «Ничего, жить будешь...»

КОЛЕСО

Это был удивительный и странный день. Я не помню, как он начался, чем кончился и с каким поручением меня послали к портному дяде Саше, который шил всем нам рубахи из синего сатина и очень теплые варежки-

шубарки. За работу он брал недорого, шил почти без примерки, на глазок, считая, что ему и так видно, где и сколько надо забрать, где выпустить, и, надо сказать, никогда не ошибался. Был он сутул, тяжело кашлял и без конца, одну за одной, смолил вонючие самокрутки, уверяя при этом, что только курево и спасает его от чахотки. «А то еще хуже бы дошел. Я себя знаю», — хрипло говорил он, принося товар, и не считая совал деньги в нагрудный карман засаленной душегрейки, которую по обыкновению не снимал ни зимой, ни летом. Жил этот хмурый одинокий старик в покосившемся доме на краю села. Мы с бабушкой однажды зашли к нему, и меня поразило, что стены у него обклеены старыми газетами, а на полу в беспорядке валяются обрезки материи, нитки и пустые катушки.

К нему я и направился, бодро сбежав вниз, к ручью, через который были переброшены дощатые мостки. Мне бы с разгону пролететь их, выскочить на пригорок и продолжить свой путь тем неспешным, но спорым шагом, каким всегда ходят люди, у которых есть дело. Но вместо этого я перегнулся через низенькие перильца и стал глядеть, как блестят в воде мелкие камешки и шевелится донная трава. Ручей беззаботно журчал, пропадая в ольховых зарослях, откуда наносило молодой крапивой, дяги-лем и сухой прошлогодней травой. Совсем недавно сошел снег, отшумела большая вода, оставив на память о себе намытый песок, застрявшие в кустах обломки досок, щепки и прочий случайный хлам. Было там сыро, сумрачно и тенисто, хотя ольха еще только начинала зеленеть, а по берегам по-цыплячьи робко желтели отцветающие вербы. И мне вдруг так захотелось окунуться в тот сладостно теплый медовый туман, которым были окутаны они, что я не утерпел и сошел с мостков...

В кустах я тут же наткнулся на неизвестно как попавшее сюда тележное колесо, попытался выкатить его на луг, но ничего у меня не вышло. Колесо оказалось грязным, неподъемно грузным, я весь извозился и оставил свою затею, благо мне тут же подвернулось другое занятие. Я столкнул в воду ржавую консервную банку; бултыхнувшись, она сильно накренилась, но удержалась на плаву, и я побежал за нею, не разбирая дороги. Дважды ее прибывало к берегу, и всякий раз мне приходилось палкой направлять ее к середине ручья, где ее тут же на начало крутить и раскачивать. В конце концов она наскочила на корягу, черпнула через край, опрокинулась и, глухо брякая, колесом покатила по каменистому дну.

Я совсем забыл, что отправлен по делу; ручей околдовал меня, заговорил, увлек. Теперь, когда с банкой было покончено, я принялся кидать в воду камни и щепки. Мне нравилось, как булькали и всплескивали они, поднимаемая фонтаны брызг. Это была замечательная игра, которой не было конца, как не было конца ручью, который бежал неведомо куда и неизвестно откуда. Солнце пронизывало его насквозь, видна была каждая травинка, каждый камешек; и песок на отмелях сверкал как золотой. Забыв обо всем на свете, я наверняка ушел бы далеко, и, может быть, заблудил-

ся бы и заплакал. Но случилось иначе. Я поднял голову и увидел над собой большое, как шапка-папаха, воронье гнездо. Обдирая колени, я полез на старую растопыренную ольшину, чтобы проверить, нет ли в гнезде вороньих яиц или даже маленьких птенчиков. И когда мне казалось, что до заветной цели рукой подать, сучок подо мной предательски хрустнул, и я, ломая ветки, мешком свалился на землю.

Шумя и волнуясь, бормотал на каменистом перекате ручей, а я лежал на подстилке из прошлогодней листвы, ощущая сквозь штаны и рубаху сырую стынь не успевшей оттаять земли. Надо мной раскачивалось несурзано большое гнездо, и снизу мне не верилось, что я только что чуть не достал до него рукой. Упал я удачно, не почувствовав ни боли, ни обиды. Я лежал и смотрел, как льется сквозь зеленое марево синий с золотом свет, сладко завидуя живущим в небесах резвым, быстрокрылым птицам, которых я почему-то до сих пор не замечал и даже не слышал, как звонко и радостно перекликаются они друг с другом.

Спohватившись, я встал, отряхнулся, вспомнив про колесо, брошенное в кустах, про мостки с перильцами, с которых так удобно глядеть в воду, про наказ сходить к дяде Саше, но вот зачем — этого я вспомнить так и не смог. Торопясь и ничего уже вокруг не замечая, я побежал, надеясь по дороге припомнить, зачем меня послали. Пустая затея! Запыхавшись и еле переводя дух, я свернул в знакомый проулок, протиснулся сквозь висевшую на одной петле калитку, взбежал на крыльцо и толкнулся в дверь...

Дверь была заперта. Я постоял немного, зачем-то подергал истертую до блеска железную скобу и, поминутно оглядываясь, побрел восвояси, стараясь не думать о том, что ждет меня дома.

Вечерело. Откуда-то слышался стук топоров и сердитое шорканье пилы. Высоко над головой насмешливо каркали вороны. Хмурые косые тени укоризненно ложились на дорожный песок. И только тут я понял, что прошел день и что меня, конечно же, давно хватились дома. Впереди плелась длинная некрасивая тень, в точности повторявшая все мои движения. Она отцепилась от меня, когда тропинка, вильнувшая напоследок, юркнула в сырую тенистую ложбину, где все так же беспечно лепетал торопыга-ручей, так легко увлекший меня в заросли черемухи и ольхи, где до сих пор лежит никому не нужное тележное колесо.

Владимир Краснов
Горький дым памяти

Руководители проекта *В. Лошак, С. Кондратов*
Редактор *Т. Михайлова*
Художественный редактор *О. Скочко*
Корректор *Ю. Баклакова*
Компьютерная верстка *Е. Яковенко*

Подписано в печать 24.12.07 г.
Формат 70x108^{1/32}. Бумага газетная.
Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная.
Тираж 60 000 экз. Заказ № 0721540.

ТЕРРА—Книжный клуб.
127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9.



Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Народная библиотека «Огонька»

С 1 февраля в каждом отделении Почты
открыта подписка на следующие издания:

Универсальный словарь: В 4 томах	1390 р.	Мериме П. Собрание сочинений: В 5 томах	1250 р.
Большая Энциклопедия «Терра»: В 62 томах	74400 р.	Монтень М. Опыты: В 3 книгах	890 р.
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: В 86 полутомах	68000 р.	Моруа А. Собрание сочинений: В 10 томах	2580 р.
Детская энциклопедия: В 10 томах	4620 р.	О. Генри. Собрание сочинений: В 5 томах	995 р.
Энциклопедия «Великий час океанов»: В 5 томах	2250 р.	Островский А. Собрание сочинений: В 6 томах	1014 р.
Авенариус В. Собрание сочинений: В 5 томах	990 р.	Песков В. Сочинения: В 9 томах	2520 р.
Алданов М. Собрание сочинений: В 8 томах	1232 р.	Похлебкин В. Сочинения: В 6 томах	1450 р.
Андерсен Х.-К. Собрание сочинений: В 4 томах	1520 р.	Ремарк Э. М. Собрание сочинений: В 8 томах	1592 р.
Блок А. Собрание сочинений: В 6 томах	1280 р.	Родари Дж. Собрание сочинений: В 4 томах	1220 р.
Бунин И. Собрание сочинений: В 9 томах	1830 р.	Сабанеев А. Собрание сочинений: В 8 томах	1456 р.
Гиббон Э. Закат и падение Римской империи: В 7 томах	1386 р.	Сабатини Р. Собрание сочинений: В 10 томах	1820 р.
Горький М. Собрание сочинений: В 6 томах	936 р.	Софья де Сегюр. Собрание сочинений: В 5 томах	1275 р.
Гранин Д. Собрание сочинений: В 5 томах	1075 р.	Сименон Ж. Собрание сочинений: В 10 томах	1990 р.
Грин А. Собрание сочинений: В 6 томах	1242 р.	Соловьев Вс. Собрание сочинений: В 9 томах	2080 р.
Долгополов И. Мастера и шедевры: В 6 томах	1500 р.	Уэдсли О. Собрание сочинений: В 6 томах	1308 р.
Карамзин Н. Полное собрание сочинений: В 18 томах	3060 р.	Флеминг Я. Собрание сочинений: В 7 томах	1540 р.
Колетт С.-Г. Собрание сочинений: В 7 томах	1274 р.	Фолкнер У. Собрание сочинений: В 6 томах	1194 р.
Купер Ф. Собрание сочинений: В 9 томах	1845 р.	Хаггард Г. Р. Собрание сочинений: В 12 томах	2880 р.
Лесков Н. Собрание сочинений: В 7 томах	1015 р.	Чуковский К. Собрание сочинений: В 5 томах	1025 р.
		Ян В. Собрание сочинений: В 5 томах	1310 р.